



Сергей Адодин

г. Кемерово

Белее снега

Ночь застала меня врасплох, когда я внезапно открыл глаза и понял, что сна больше не будет. Плотно задернутые шторы ровно подсвечивались снаружи белым, словно это и не ночь была вовсе, а театральная постановка. Осторожно выглянув наружу, я понял, что свет шёл отовсюду: с неба, из фонаря на углу дома и даже пары-тройки горящих окон квартир, чьим хозяевам не спалось, но ярче

всего блистал снег, раскинувшийся повсеместно барханами взбитых сливок.

Казалось, сверкает каждая снежинка в отдельности, а небо лишь отражает это сияние. Ветер, трудившийся ещё с вечера, разгладил неровности сугробов и причесал каждый куст под окном, теперь ветки шиповника, усыпанные бордовыми капельками ягод, уже не торчали в беспорядке, а рядились изящными икебанами, окутанными дыханием люков теплотрассы. Раньше я как-то их не замечал, а тут насчитал сразу четыре люка. Пейзаж искрился, словно свадебный десерт, отчего убелённая трансформаторная будка напротив окна казалась сделанной из сладкой глазури, а оставленная открытой на подоконнике Псалтирь будто бы покрылась тонким слоем сахарной пудры – такой эффект давала лёгкая изморозь на стекле. Не подумайте: взбитые сливки и сахарная пудра – это вовсе не пошлые грехи стилистики. Просто при диабете сладкое мерещится повсюду. Иногда даже снится.

Зима в мой город всегда приходит незваной. Не мной, в любом случае. Так было и на этот раз. Но прежде она никогда не старалась мне понравиться, и я не обращал на неё особого внимания: ни тебе запахов, ни красок, ни звуков примечательных. Ну, вьюга воет, бывает. Так и волки тоже воют с голодухи. Тоже мне, особенность. Холодно, ветрено, ни сочной листвы, ни разноцветных стрекоз с полосатыми шмелями. Ой, что это? Неподвижность картины внезапно нарушил проشمыгнувший мимо рыжий кот с куцым хвостом: озираясь вороватой мордой с мёрзлой сосиской в зубах, он осторожно тронул лапкой колючий иней вокруг продуха, да и юркнул в подвал: холодно. Удачи тебе, котейка!

Зима в Сибири всегда чувствует себя хозяйкой положения, забирая часть полномочий у весны и осени: в октябре снег уже лёг, а в марте он всё ещё никуда не собирается, порой ожидая середины апреля. И ветер, ветер то и дело. Всякий раз норовит выдуть из моей головы всю лирику.

Эта зима приходит в мой город с достоинством и берет в плен всё, что видит на небе наверху и на земле внизу. Реки сковывает ледяными веригами, на птиц накладывает обет молчания, она также повелевает сосновым бором, улицами и каждым парком, туманом и облаками, утками и собаками. Повсюду анабиоз и безвременье.

Адодин Сергей Сергеевич, протоиерей. 1977 г. р. г. Кемерово. Женат, трое детей. Член Союза писателей России, ч/б № 6532/42. Окончил ПСТГУ по спец. «Теология» (бак.), СмолГУ по спец. «Теология» (маг.), КемГУ по спец. «Генетика» и «Педагогика» (спец.), КемГУ по спец. «Зоология и биоэкология» (маг.). Преподавал в Смоленской семинарии и Кемеровском институте культуры. Штатный священник Казанского храма г. Кемерово. Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства. Автор печатных изданий: «По дороге вечной» (сборник рассказов и стихов); «Ворваться в рай» (сборник рассказов); «Цветоворот» (сборник стихов); «Быть попом. Нежалобная книга» (сборник эссе); «Книжка для своих» (сборник рассказов и сказок); «Орто.docx. Записки непрозорливого священника» (сборник эссе); «Служение Богу, Церкви и Кузбассу: митрополит Евлогий (Смирнов)».

В зарослях шиповника спят снегири, уткнувшись лбами в ветки и друг в друга. Напрыгавшись и напевшись за день, они теперь сгрудились в две плотные стайки: восемь в одной и девять в другой. А чего мне тут делать, у жаркого радиатора? Одевшись потеплее, я потихоньку вышел из дома, обмотав нижнюю половину лица шарфом. Понаблюдаю за зимой. Инкогнито, как бы.

Ветер стих, и пошёл крупный снег. Значит, завтра будет оттепель. Судя по ощущениям, его хлопья падали отовсюду. Некоторые валились отвесно, тяжело и, казалось, бесследно исчезали, едва коснувшись поверхности сугробов. Другие летели по диагонали, щекоча мне брови и ресницы. Уже через пять минут припаркованные во дворе автомобили стало невозможно отличить один от другого. Модель сейчас у всех была одна – сугробная, а цвет – снежный. Нет, не так. Сладко-снежный, вот. Я задрал голову. Ни луны, ни звёзд. Лишь сплошной туман белых мух. Время остановилось, я выдохнул облачко пара и задержал дыхание, закрыв глаза...

Я вспомнил историю, которую некогда поведал мне один англичанин, перебирая струны в задумчивой грусти:

– Когда-то давным-давно по тропинке не то людской, не то звериной, пришёл сюда человек с мешком за спиной. Шёл он долго ли, коротко ли, никто уже и не знает. Может, миль тридцать, а то и поболее. Выбрав место получше, он скинул свою ношу и сделал эту дикую местность вокруг своим домом. Человек вспахал землю на берегу холодного озера у реки и построил себе хижину, заготовив в ней запасов на всю зиму. И вот той же тропинкой пришли и другие странники, посмотрели вокруг и тоже остались тут. Затем возникли церкви и школы, пришли юристы и принесли с собой законы. Люди построили шахты, и оттуда пошла угольная руда. Позднее здесь появились поезда и грузовики со своими грузами, а взамен той грязной старой тропинки проложили дорогу с телеграфной линией. Потом настали трудные времена, а затем случилась война. А телеграф всё пел и пел свою песню о мире. И та дорога с телеграфной линией со временем углублялась и расширялась, подобно бегущей реке, и вот теперь это уже не тропинка, а шестиполосная магистраль с затруднённым движением по трём полосам в одну сторону. Кто-то едет домой с работы, а кто-то лишь рыщет в её поисках. И вроде бы право на труд есть у каждого, но далеко не всем хватает места под солнцем, даже птицам. Вот они, глянь – расселись на проводах и телеграфных столбах, я слышу их щебет, похожий на телеграфный код, но птицы-то всегда могут улететь от всего этого холода и потоков шахтёрских огней, а нам, людям, приходится пожинать урожай, что мы сами когда-то посеяли... Правильно говорится: долги приходится возвращать. Радиосводки сулят, что ночные морозы будут крепчать и крепчать. И я, пожалуй, не хочу видеть этого снова...

Что он тогда хотел этим сказать? Что, может, обиделась мать-земля, крепко обиделась на человека, бесцеремонно вторгшегося в её тайные пределы и выжавшего из неё все соки, и призвала на помощь зиму, которой, поди, и не было отродясь? Что, живя вместе с землёй и небом, человек мог бы составить единое целое со всей этой незыблемостью первозданного бытия? Но для этого надо было идти по жизни, вооружившись одной лишь любовью. Не взятая силой, земля могла бы безраздельно принадлежать сынам Адама, рождая им хлеб и без пролития пота. Зачем сражаться, состязаться и соперничать, если можно просто воздавать друг другу должное уважение, следуя друг за другом? И мы увязли в суете дорог без помощи скорой. Скованы цепью огней ночных городов, мы обречены проживать за зимой зиму.

И я долго шёл по пустынному проспекту, вслушиваясь в эти слова, всматриваясь в сокрытый от меня лик зимы, изучая её призрачный абрис в жёлтом свете фонарей. И меня осенило: чтобы увидеть саму сущность зимы, а не обманываться макияжем, нужно представить себе, что я вижу её последний раз в своей жизни. Вот сейчас я живу, а завтра уже не наступит. Когда ведёшь себя таким же образом с людьми, с ними не хочется ссориться. Даже если человек ведёт себя возмутительно. А с любимыми и вовсе ловишь каждый момент и радуешься, «слагаешь его в своём сердце». Я зажмурился и сказал себе, что это последняя ночь для меня.

Последний снегопад. Последняя ночная прогулка. Открыв глаза, я увидел слишком много. То, чего не замечал каждую зиму, теперь обрушилось на меня потоком впечатлений. И запах. Это был особенный зимний запах – запах холодного воздуха и замерзшей воды.

Я понял, что зимы и правда не было изначально, равно как и весны с осенью. На заре времён было одно только вечное лето, и это не было скучно. Зима была рождена намного позднее – из-за человека и для человека. Рождена прятать все его ошибки под толстым слоем снега и льда. Рождена убелить все те мазки на полотне жизни, что человек наносит впопыхах. Стирать, чтобы дать ему возможность передумать, переписать всю картину наново. Да и земле требовалось отдыхать от хаотичной деятельности человека и обновляться. Мир взывал к Богу, и Бог дал ему зиму.

Мне открылось все её разнообразие, я влюбился в неё без памяти. И мог различать более сорока основных типов снежинок вплоть до алмазной пыли. Каждая из них, если приглядеться, переливалась всеми цветами радуги. Ветви деревьев потрескивали под косматой тяжестью кучты. Вроде бы я даже слышал звук, с которым потоки снега рассекали загустевший воздух. Хотя, возможно, это шумела кровь, разгоняясь по венам в ночной тишине, ведь город молчал, и мой слух, привыкший к фоновым шумам, успел отдохнуть, и теперь мог распознавать то, что раньше проходило мимо сознания. Как тиканье часов, когда о них вспоминаешь.

Я не заметил, как дошёл до общежития, где прошло моё раннее детство. Ещё несколько метров мимо полузаброшенных погребов, и вот – ряд толстоствольных тополей, под которыми когда-то, более шестидесяти лет назад стояла простенькая Знаменская церковь, переоборудованная из обычного частного домика. Я не застал её, само собой, лишь, спустя двадцать лет после её разрушения городскими властями, играл с друзьями на том самом месте, где когда-то в алтаре приносилась бескровная Жертва.

Сибирская зимняя ночь. Город ещё спит, и колкая свежесть наполняет пространство вокруг. Виляя хвостом, ко мне подходит заснеженный барбос – я разбудил его, и он надеется, что это неслучайно.

– Здравствуй, собака, – говорю я, – никакой еды у меня для тебя нет.

И глажу умную морду.

«Ничего, – отвечает пёс, – зато ты не злой и даже не дерёшься. Это уже хорошо». И, потянувшись, беззвучно уходит по своим собачьим делам куда-то за детскую площадку. Как это у него получается? Вот под моими ногами снег ещё как скрипит. Белые хлопья всё не кончаются, и я начинаю напоминать снеговика.

Уловить бы момент, когда снежинка, замеченная в снопе фонарного огня, пролетает свой путь до самой земли, но мне это долго не удаётся. Каждая из них уникальна, но лишь тогда, когда смотришь через увеличительное стекло. На расстоянии же все они одинаковы, и топтать их ногами совсем не жалко. Думаю, именно так и выглядит личность в глазах гоббсовского Левиафана. Издалека это просто масса. А приглядываться ведь некогда, да и неохота опять же. Мельче будешь – дольше протянешь. Возможно ли договориться с самой жизнью, поступившись суверенным правом на смерть?

Где-то наверху звёзды переплетались причудливыми соцветиями, я их не видел, но знал, что далеко отсюда, там, где облака забыли выйти на работу, эти небесные огоньки зябко дрожали в отражении холодных морей и вдохновляли влюблённых забывать о времени.

Млечный Путь, сияя миллиардами космических искр, простирался на сотню тысяч световых лет, увлекая мой город вместе со всей планетой в полёт, длиною в жизнь, и запуская в межгалактическое пространство горячие брызги звёздных систем. Рёв солнечного ветра, теряющийся в безвоздушном пространстве, медленно растворялся в хрусте снега под моими ногами и смешивался с отдалённым запахом печных труб, прилетевшим с правого берега Томи.

Я надел наушники, закрыл глаза и с расстояния в пять тысяч километров увидел своего друга Марка, того самого англичанина. Вот он, седой, семидесятилетний, обритый почти

что налысо. Лицо пропитано спокойствием и неторопливостью. Я знаю его почти тридцать лет, но ни разу с ним не встречался. Он даже не догадывается о моём существовании, оставаясь при этом моим другом и умным собеседником. Как старший брат по оружию. Когда слушаю его, ловлю себя на мысли, что ему должно быть лет сто, не меньше.

Открыв глаза, я проснулся. Ночь разбудила меня своей тишиной. Подойдя к окну и взглянув из-за штор, я долго смотрел, как снежинки ложатся на спящих в шиповнике снегирей. Фонарь на углу дома затмевал свет луны, едва пробивавшийся сквозь мешанину смога и облаков, каждая звезда знала свою дырочку в далёком полотне небосвода, и даже не претендовала на право быть увиденной тут, в зимнем Кемерове, а ветер, не прощаясь, отправился спать до самого рассвета.

Рассказ

Ветер за открытым окном задумчиво гонял по террасе россыпи желтых песчинок, словно шепелявя имена позабытых всеми богов.

«Как тростниковый сахар на поверхности чайного столика», – рассеянно подумал старик, набивая грушевую трубку с треснувшим мундштуком.

То ли табак был слегка пересушен, то ли уже начинало подводить обоняние, но вместо привычного пряного аромата ему почудилась свежескошенная трава родительского луга. И почему-то запах поленницы осиновых дров в сарае, построенного отцом.

Старик крякнул и с усилием поднялся из-за стола, чтобы взять спички. От трения серная головка с шумом рождала пламя, которое сперва забилося, словно в панике, затем, оценив ситуацию, занялось прямыми обязанностями – преобразовать все, чего коснется. Поднеся спичку к чаше трубки, старик дважды осторожно втянул воздух, добившись густого сладковатого дыма, и с сожалением задул колеблющийся огонек.

Потревоженная муха взлетела с лопасти стального вентилятора, стоявшего на столе, и перебазировавшись на гладь оконного стекла, раздраженно жужжа.

«Фа мажор», – машинально отметило сознание. Поставить, что ли, Венгерский вальс? Или достаточно того, что мелодия уже звучала в голове, воспроизводя ноту за нотой в стройном порядке? Поистине идеальная музыка!

Выпустив струйку дыма по направлению к почти новой пишущей машинке, старик залюбовался сизыми потоками, проникающими между безупречными кнопками Ундервуда.

О да, эта машинка была произведением искусства! Лист дорогой бумаги был уже заправлен и ждал, когда мысли, уже давно оформившиеся в голове старика в цельное повествование, начнут проявляться на белизне бескрайнего художественного полотна с чеканными ударами металлических литер. Щелк, щелк-щелк, щелк... И в конце каждой строки: дзынь! Словно колокольчик из музыкальной шкатулки дорогой почившей Лауры.

Старик вытер слезу и осторожно провел кончиками тонких пальцев по кнопкам. Он помнил точное положение каждой буквы наизусть – так долго он готовился к сегодняшнему действию. Думал, курил, разглядывая каждую деталь машинки, за которую пришлось отдать свой велосипед. Ну и пусть. Все равно координация теперь уже не та, что прежде.

Это будет один-единственный рассказ в его жизни. Зато какой! Сам старина Хемингуэй, будь он в живых, захлебнулся бы желчью зависти и ушел в затяжной запой. Лучшие газеты будут бороться за исключительные права, когда прочитают ознакомительный отрывок. Потом, после публикации, естественно, все захотят интервью. Но опоздают. Будет интрига. Как? Кто он такой? Откуда ему все это известно в мельчайших подробностях? Что за стиль? Автора!

Но автор уже ничего никому не сможет рассказать, да.

Выбив выгоревший табак из стаммеля о решетку камина, старик положил трубку отдыхать на полке рядом с Вальтером, с наслаждением отпил кукурузного лагера из бокала и уселся перед Ундервудом поудобнее. Вытянув руки над кнопками, как некогда в молодости над ро-

ялем в Венской опере, старик зажмурился и ясно представил себе, как бежит по склону альпийского холма на зов милой матушки:

– Фабиан!

– Фабиан? Фабиан Пафф?

Старик открыл глаза. В комнате толпились какие-то люди, испытующе глядя на него.

– Кто вы такие? – промолвил Фабиан, растерянно озираясь.

И тогда старший из них заговорил на самом ненавистном из всех языков планеты. Словно разряд электрического тока пронзил его изнутри, выворачивая все нутро наизнанку. Дикая ярость вскипела в глазах, лицо старика исказила гримаса отвращения, смутившая пришельцев, ворвавшихся в его дом прямо в обуви.

– Фабиан Пафф, за свои преступления Вы приговариваетесь к смерти.

Все четверо извлекли из карманов по пистолету и быстро навинтили глушители. У одного из них тряслись руки.

Выстрелов старик не расслышал из-за вальса. Боли тоже не было, просто ощутил, что перхнулся. Рефлекторно закашлявшись, он забрызгал белоснежный лист кровью.

Брызги расплывались и складывались в причудливый узор букв и звуков величайшего рассказа двадцатого столетия.

«А так даже лучше получилось», – успел подумать старик прежде, чем доиграл Штраус и во всем мире погас свет.

